

Старый «ЛАЗ», натужно пыхтя, выползает с автостанции на дорогу. В открытое окно вместе с ветром, рвущим пропыленную занавеску, влетает горячий и жирный запах бензина. За окном бегут тополя с кронами, дрожащими переливчатым солнечным серебром, не спеша проползают приземистые двухэтажки цвета прошлой годней листвы, в их окнах дробится весеннее небо, а над крышами бурлят выпуклые много-русные облака.

За ветхими оградами брошенных домов поселка бушует, скрывая развалины, одичавшая зелень, жилые дома все разные, но одинаково трогают своим бедным, скромным уютом.

Взлетаем на эстакаду — и вдруг открывается размытый, как от слез в глазах, горизонт с синими терриконами, сверкнет вдруг где-то в необозримой дали солнце, отраженное окном высотки, которую отсюда едва можно рассмотреть, одинокой искрой просияет плывущий к террикону купол, и когда ты подумаешь — за терриконом он или перед ним, горизонт оборвется и сплошной зеленой массой зарыбит в глазах лесополоса.

Сразу за переездом дорога заметно хуже, автобус подсакивает на колдобинах, тяжело ухает в рывины, и наконец преодолевает огромную, во всю ширину дороги, лужу — отраженное небо, вспениваясь облаками, пульсирует, толкается в бордюры, а от колес разлетаются крылья брызг с дрожащей на конце радугой...

А дальше — пасмурная окраина: влияние по одинаковым узким улочкам, от которого теряешь чувство пространства и забываешь, с какой стороны приехал и в какую сторону направляешься. Едем так медленно, что успеваешь рассмотреть и материки облупленностей на синей краске за дверями открытых подъездов, и густой, бородатый мох под стенами домов, и корявые герани в окнах — и это ровно перемежается остановками, с каждой из которых из-под ржавых навесов в салон вливаются лица, лица, лица...

Те из них, которые мне запомнились, я иногда рисую карандашом... И рядом с прочими лицами — всегда *ее* лицо, которое мне — единственное из всех — почему-то не удается...

Старшеклассники и студенты садятся сзади, на длинное, сплошное сидение, всегда теплое от двигателя под ним; девушки с чьих-то колен повизгивают на крутых поворотах и иногда вылетают из гогочущей массы в салон, к поручням с краской, стертой до отполированного железа...

Пенсионеры располагаются впереди, чтобы отстаивать свое право ехать, не войдя в число двух положенных льготников, или молча протянуть удостоверение, или поставить тележку поближе к выходу.

...Она всегда садилась странно, на единственное место, повернутое к окну спиной — может быть, из-за близости его к выходу, или потому, что оттуда удобнее смотреть в лобовое стекло, или потому, что ей нравилось находиться на возвышении — сидение располагалось над колесом.

После нее я видел там рабочих коксохимического завода, шахтеров с черными веками, тонко обведенными въевшейся угольной пылью, рыночных торговков, которые сидели там или ставили туда огромные клеенчатые сумки, влюбленных, щебечущих и расpiraемых своим готовящимся или уже состоявшимся счастьем: девушки клали головы на плечи студентам с сосредоточенным на потолке взглядом — так же, как и тогда, давно — она — мне.

Как она вошла? Странно, но именно этого я не помню... Должно быть, она стояла под дырявым навесом, прячась от уже прошедшего дождя, а потом шагнула через лужу на ступеньку автобуса — шаркнули раздвижные двери, автобус тронулся и с бокового зеркала от тяжести впитанного солнца сорвалась бисеринка капли, сверкающая даль улицы, яснея и разрастаясь, поползла сквозь стекло, полукругло заезженное дворником — и она прошла по истертому до серости линолеуму, края заплаток которого чувствуешь под подошвой, и села рядом со мной на то, свое, место над колесом, и всего этого я не знаю, как не знаю, что было со мной до того, как я осознал себя в этом мире.

Я помню драгоценную тяжесть ее головы на своем плече, и свое радостное волнение, и страх, что на повороте она проснется...

Я не мог рассмотреть ее, боясь шевельнуться, но чувствовал нежный, тонкий запах ее волос и их щекотное прикосновение. Скосив глаза, я рассматривал ее руки, кружевные белые манжеты, выступающие из-под рукавов синего пиджачка, серебряное колечко без камня, серебристый лак ногтей, узкую белую ладонь, и ее запястье с выступающей сбоку косточкой.

Я вдруг понял, что не могу думать, в голове, вытеснив все мысли, разверзлась первозданная пустота. Зато особенно остро стали ощущаться звуки: скрежет переключения передач, шипение дверей, грохот, с которым кто-то открывал люк, ерзанье дворника по стеклу — все это могло прервать этот миг нашего случайного согласия, только она откроет глаза — и все исчезнет, оставив не больше следа, чем сам ее сон.

Сквозь мутное от солнца стекло я следил за тополями, отмерявшими наше время.

Она проснулась на последнем повороте перед конечной, как раз тогда, когда кончились тополя. Пригласила прическу — и несколько волосинок, выбившиеся из нее, оказались не русыми, а почему-то — золотистыми в солнечном свете. Поправила на груди тонкую золотую цепочку, уходящую за грань выреза. Сложила в замок руки с тонкими белыми пальцами. Как ни в чем не бывало стала смотреть в окно.

В голове застучало: нужно подать ей руку! Вдруг вспотели ладони, и я вытирал их о колени брюк, а потом, опередив ее у выхода, тревожно оглядывал остановку: не ждет ли кто ее, не ищет ли взглядом в проеме разъехавшихся дверей?

Еще я боялся, что в последний момент, на ступеньке, кто-нибудь окажется между нами.

Но вот двери разъехались, я спрыгнул на бордюр, и те секунды, пока она мешкала у двери, рассматривал ее, еще не понимая, насколько крепко это засядет в памяти: крупная родинка на шее, улыбка, проявившая морщинку в уголке рта, и то, как она жмурилась от солнца и ее ресницы почему-то казались мне золотистыми, и едва видимая голубая жилка на виске, и темно покрасневшие щеки, и пиджачок с золоти-

стыми пуговицами на спине, и черные бархатные туфельки с бантами — уже на последней ступеньке, перед дверями.

Я протянул ладонь, и, не успев засомневаться, ответит ли она, ощутил легкое, невесомое касание ее холодной руки.

Единственный раз, когда я слышал ее голос — это в этот миг — когда она сказала «Благодарю». Он был такой же легкий, невесомый, как ее рука, и я помню его до сих пор.

Жмурясь, я шел по солнечному бульвару и сдерживался, чтобы не перейти на бег. Из-под ног со свистящим хлопанием крыльев бросались голуби.

У нее были темно-зеленые глаза, и теперь ее взгляд чудился мне в кронах берез, на ветру и солнце переливающихся оттенками. Я останавливался, смотрел на даты и имена, угловато вырезанные на белой коре, и думал, где сейчас люди, нацарапавшие их, и оставят ли они на свете еще какой-нибудь след, и о том, почему я никогда не замечал раньше этих надписей.

На углу стояла старая, проржавевшая насквозь «Волга», и я вернулся...

— Пятьдесят,— сказал довольный таксист. Захлопнул дверцу: пивной живот под футболкой невнятного цвета почти вплотную уперся в руль.

Убегала под длинный капот дорога с искрющимися зернышками асфальта, совсем другой, незнакомой казалась улица, которую я видел семнадцать лет, каждый день, и только сегодня — впервые — сквозь лобовое стекло машины, и я, мысленно еще читающий надписи на коре, поражался себе: куда я еду? Зачем?

Явно довольный таксист, делая веские паузы, оправдывал свою цену, и в такт словам сжимал и разжимал сложенные в замок на руле красные, волосатые руки с желтыми ногтями и выцветшими до серости татуировками. Сквозь голубиную отметину на истертом дворником стекле наплывал на меня незнакомый, преображенный мир.

Когда мы приехали, я не мог найти ручку двери; таксист, сурово сопя, потянулся помогать мне.

Зачем я проехал эти два квартала и ходил дворами, будто искал, пытался почувствовать ее следы? Я вглядывался в окна пятиэтажек, непрозрачные от отражений крон и неба, и гадал — из какого окна она сейчас меня видит и видит ли?

Еще чувствуя приятную прохладу ее руки, нежное прикосновение волос, ее голову на своем плече, я уже не знал, не мог предположить, где она, и это какой-то странной тяжестью легло на душу: бушевали на ветру кроны, солнце до боли в глазах полыхало в весеннем мире, воздух сочился обнадеживающим и зовущим куда-то запахом прошедшего дождя, и во всем этом мучительно не хватало чего-то, будто я был в разлуке с кем-то очень родным.

Из-за этого же чувства я в середине ночи пробрался в кухню: зажег огарок свечи и, глядя на двойное отражение его пламени в стеклах, пытался писать стихи.

Огонек дрожал под открытой форточкой, по стенам и потолку в фантастическом танце скакали тени, кроны во дворе, покрытые темным лунным серебром, могуче ворочались на ветру, и чье-то голубое окно, одиноко прорезая ночь, светило напротив.

*В отдушине гудит застрявший ветер,
А выбравшись — приоткрывает дверь...*

Свеча кадила, напоминая детство, и радость, когда вдруг не было электричества... Воцарялся таинственный свет керосиновой лампы, в стеклянном колпаке дрожал лепесток огня — голубой внутри, а по краям желтый; иногда гасли фонари и окна напротив — тогда особенно ясно над потухшими домами виделись звезды; и почему-то хотелось говорить шепотом.

*И тихий скрип... ни звука во всем свете...
Ни звука в сонной, крепкой синеве.*

*Пройду и я, пройдут и эти ночи —
Как свет погасших утром фонарей,
Рассыпанных в цепочках многоточий,
На горизонте, в парке, во дворе.*

Вот эта керосинка, стоит в кладовке, и вот эти звезды над темными крышами, и вот трепещущий от дуновения ветра голубовато-желтый язычок пламени — но это другая ночь, другая потому, что в ней не хватает того меня, каким я был десять лет назад. А теперь не хватает и ее, хотя еще утром я даже не подозревал о ее бытности в этом мире.

...Мы встретились взглядами, она узнала меня, на губах дрогнула улыбка. Я попытался улыбнуться в ответ, но так неуклюже, что у нее появились ямочки на щеках, и она отвернулась к окну, делая вид, что смотрит.

Потом я снова поймал ее смеющийся взгляд, очень упрямый — она как бы предлагала мне игру: кто первым отведет глаза; и мы смотрели друг на друга так долго, что почти целый квартал, как вечность, проплыл где-то на краю зрения, а когда замелькали тополя с серыми от прошлогодней извести стволами, она откинула голову назад, будто бы для того, чтобы заколоть волосы на затылке.

Я рассматривал ее маленькие руки, едва видимые под тонкой, нежной кожей узоры вен, синий след от ручки и недавнюю кошачью царапинку на запястье, потемневшее серебряное колечко с выпавшим камнем, и она, смутившись, сжала кулачки и спрятала их в рукава, как будто ей было холодно. В ответ на это я расстегнул воротник рубашки и вытер воображаемый пот со лба.

И я почувствовал, что какая-то невидимая граница отделила нас от остальных едущих в автобусе, потому что мы были уже вместе, соединенные ощущением общей тайны: что нечто большее связывает нас, чем путь в одном направлении.

...Нужно заговорить с ней. Но о чем? Я знал, что и она сейчас должна прийти к чувству этой общей тайны, знал и то, что она пытается угадать, заговорю ли я с ней или наш диалог останется немым.

Спросить, как ее зовут или наоборот, сказать ей свое имя — после всего, что мы уже сказали друг другу — казалось глупым; до какой остановки едет — еще хуже, тем более, что она уже знала о том, что я знаю это; попытаться сделать ей какой-нибудь комплимент — но разве я уже не сказал ей, какая она — тем, как ее рассматривал?

Да и потом: говорить ей «ты» или «вы»? Сколько ей лет? Когда она смотрит прямо на меня, мне кажется, что она примерно моего возраста, в профиль — когда поворачивается к лобовому стеклу — она гораздо старше, и настолько серьезная и чужая, что я даже сомневаюсь, решусь ли заговорить с ней.

Тополя за окном отмеряли секунды и метры, кончились брошенные дачи с темными провалами окон и перекошенными к дороге заостренными досками заборов, проплыло серое и громоздкое здание поликлиники, промелькнули цветущие клены бульвара, пятиэтажки, оборвавшие их, и — последний поворот, за которым — конечная остановка.

Не взглянув на меня, она пробилась к двери, у которой уже стояли человек пять, и в этот день я, замешкавшись, руки ей не подал.

Первая мысль была — заговорить с ней, или хотя бы незаметно пойти следом, но она оглянулась на меня, делая это невозможным.

Я стоял и смотрел, как она уходит.

Следующие дни были душны от жары и ненужности всего, что происходило без ее участия — там, куда я каждое утро ездил, в темных коридорах, гудя, мертво горели лампы дневного света, за открытыми форточками, в которые плыла майская жара, плавилась и трепетали зеленые свечи тополей, пахло пылью и краской затеянного ремонта, а вечером раскаленный белый ЛАЗ с красной полосой на боку среди множества самых разнообразных пассажиров увозил домой и меня.

Надо написать ей письмо... И отдать при встрече — осенило меня в одну из ночей, и я сидел с листом бумаги у темного окна, и там же застал меня рассвет, и с рассветом ничто не нарушило белизну листа...

Был еще третий раз, и ее отец: седоватые волосы до плеч, лицо, изузоренное морщинами и пронзительный взгляд, под которым почему-то хотелось сжаться. Отсветы фонарей плыли по их лицам, неожиданно высвечивая уже знакомые мне черты; она прикрыла глаза и кивнула мне как старому знакомому. Из неплотно закрытого люка срывались капли. За стеной дождя сменялись желтые, коричневые, серые дома. На остановках толкали со всех сторон, оттесняя от нее. Выходили, вжимали головы в плечи, пока возились с зонтами, которые потом взрывались над тротуарами, превращаясь в темно блестящие купола.

Она исподлюбья смотрела на меня, потом опускала глаза, вертела на пальце свое серебряное колечко, и тень улыбки угадывалась в уголках рта. Мокрые волосы прилипли к белому лбу.

Я пытался понять по губам, о чем они говорят, ее голоса я не слышал, но сквозь гул мотора вместо него чудилась какая-то мелодия, поющий с закрытым ртом хор.

Пусть случится огромная пробка на нашей пустой дороге, или сломается автобус и мы будем долго стоять между остановками...

По стеклам прозрачными строчками стекал дождь. Окна и фонари, размытые им, плыли в даль мокрого проспекта, брызги из-под колес дробно стучали в бока автобуса. Мир по вечернему выцвел до черно-белого, крыши наливались темным зеркальным блеском.

Перед тем, как выходить, она взглянула сначала на меня, у входа опередившего ее, потом назад, на отца, уже заслонившего свет проема, и, освобождая для меня правую руку, надела сумочку на плечо.

За ее спиной уже появилось лицо отца, и, вместо того, чтоб подать ей руку, я зачем-то отступил на шаг, в лужу...

...Потом я заговливал фразы и часто, часто видел ее в других — в склоненной русой головке, в мимолетном касании холодной руки, в нечаянно пойманной улыбке, адресованной не мне — сердце вздрагивало в предчувствии и падало, когда я понимал, что обманут случайной приметой.

Как-то незаметно надвинулись длинные, уже осенние вечера, и, когда я возвращался, встающие из-за горизонта трубы завода уже не чернели над закатом, а терялись в звездном кружевном небе. А потом звезды под тяжестью плывущих зданий крошились с хрустом льда под колесами автобуса, а между остановками в лужице под прожавленной водосточной трубой мокнул потолок чьей-то кухни.

Я искал ее взглядом, протирал запотевшее окно, всматривался в силуэты, выступающие из дождя, или тумана, или снегопада, в белые или красные лица, скрытые поднятыми воротниками пальто, или капюшонами, или шапками, шарфами, натянутыми до глаз... Эти долгие возвращения без нее я не делил на дни, они сливались для меня в одну нескончаемую дорогу.

Я помню один из тех вечеров. Хлесткий, ледяной ливень хлынул на город; потом — тонкие ветки вздрагивали от падающих с них капель, а в каплях — вогнутый

мир: черные стволы деревьев, белое, наэлектризованное небо, и уменьшенное во сто крат закатное солнце...

Улицы заплыли дремотной, туманной серостью, мокрая земля пахла весной, среди осени — такой обнадеживающий и зовущий куда-то запах. Над домами и верхушками тополей — прозрачное, легкое небо, до предела натянутая розовая гладь. Струнами пересекали ее провода, протянувшиеся между крышами домов, и от контраста темных крыш и еще по-дневному яркого неба даже начали болеть глаза.

И я вдруг понял, что уже полгода не видел ее и вряд ли теперь увижу.

В кленах аллеи, по которой я полгода назад шел под ее взглядом, полыхала осень. По дворам бродили старики в бесформенных пальто.

На клумбе с жухлой травой проехавшая машина оставила борозды — глубокие, затопленные расплавленным закатом. Она стояла там же, в ста шагах — та самая «Волга», легкое и холодное небо стертой голубишной лежало на мокром капоте, эмблемой октября прилип к лобовому стеклу кленовый лист.

В ту последнюю нашу встречу тоже был острый, секущий дождь, и, уходя с отцом, она через плечо, из-под зонта — улынулась мне — почему-то я подумал, что укоризненно. Их пестрый зонт долго маячил над головами мокрых прохожих, пока не исчез в мелькании неоновых вывесок магазинов.

Я не пошел за ней, а, весь мокрый, бродил дворами. Крупные, лучистые звезды отраженных фонарей плыли в стеклах припаркованных в лужи автомобилей, низкие ветви, если я задевал их, бросали капли в лицо и за воротник, и все яснее выделялись в густеющей темноте нездоровой желтизной окна.

А ночью я не спал, как все влюбленные и счастливые, я пробрался на кухню — зажег огарок свечи в граненом стакане с крупной серой солью, и на полях найденной газеты писал стихи — почему-то об осени — в ту пору осенью меня всегда тянуло писать о весне, и наоборот.

Держак ковши Медведицы лежал прямо на крыше дома напротив. Взрагивали в прорехах облаков острые бирюзовые звезды. Венера, глубоко вдавленная в небо, источала звонкий, хрустальный свет, видимый даже сквозь тонкую ткань занавески. На стекле гигантскими щупальцами шевелились — медленно, как в воде — многократно увеличенные тени ветвей.

И звал куда-то далекий гул товарняка, заставляя вспомнить, что там дальше, за этими домами — лунная дорожка дрожит на поверхности ставка, и резко очерчиваются в ее свете черные камыши, и небо над полями отодвинулось еще выше, чем было днем, по краям — прозрачно-синее, выше — матово-фиолетовое, а совсем в вышине, за луной в радужном нимбе — непроглядно-черное, плотное, уже без звезд; опоры линий электропередач, как застывшие скелеты великанов, сторожат поселок; на горизонте дымит осыпанный золотом и бирюзой завод; ветер, шуршит, носится в траве, поднимая серебряные волны, перегоняя их через все поле, из края в край... Это было давно, почти десять лет назад.

